

СЕВЕР

Константин КОЗЛОВ
ПУТЕВКА В КАРЕЛИЮ
остросюжетный роман

Аполлон ГРИГОРЬЕВ
ПУШКИН — НАШЕ ВСЁ

Эйно КАРХУ
ПУШКИН О ФИННАХ
И ФИННЫ О ПУШКИНЕ

Геннадий САЗОНОВ
КОМУ ЗАВЕЩАЕМ РОДИНУ
статья

Б

1999

Эйно КАРХУ,

доктор филологических наук

ПУШКИН О ФИННАХ И ФИННЫ О ПУШКИНЕ

Можно указать на несколько причин, почему Пушкин, никогда не бывавший в Финляндии, тем не менее часто упоминает о ней, не упускает ее из поля своего зрения. Причины эти и исторического, и лично-биографического свойства.

Российский Северо-Запад издревле населяли финские племена, получившие в науке название прибалтийско-финских. На протяжении чуть ли не целого тысячелетия — начиная с варяжско-викинговских времен — продолжалось упорнейшее соперничество между славянским и германо-скандинавским миром за овладение прибалтийскими территориями, включая Финляндию, Карелию, Ингерманландию, Эстонию, а также Латвию.

Прорубленное Петром Великим “окно в Европу” непосредственно коснулось прибалтийско-финских народов и сказалось на их исторической судьбе. В качестве новой российской столицы Санкт-Петербург возник на месте и в окружении ингерманландско-финских деревень, на берегу Финского залива, у начала Карельского перешейка — уже сами эти названия ассоциировались в сознании Пушкина и его современников с финскими племенами. Петербург омывался “финскими волнами”, как это звучит в знаменитом вступлении к пушкинской поэме “Медный всадник”:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

(III, 287).¹

Пушкин отличался обостренным историческим сознанием — это относилось не только к истории России, но и к его собственной родословной. Как известно, он уделял немало времени собственно историческим исследованиям, в особенности Петровской эпохи и пугачевского восстания. Он и в своих художественных произведениях глубоко историчен, а в собственно исторических исследованиях стремился к правде другими путями, без поэтического вымысла и фантазии. Нравственный долг историка как объективного исследователя понимался Пушкиным строго и бескомпромиссно. Наталкиваясь постоянно на цензурные запреты, он сообщал шефу жандармов Бенкендорфу в декабре 1833 года: “Я оставил вымыслы и написал “Историю Пугачевщины”... Не знаю, можно ли мне будет ее напечатать, по крайней мере, я по совести исполнил долг историка: изыскивать истину с усердием и излагать ее без криводушия, не стараясь льстить ни силе, ни модному образу мыслей” (X, 361).

При таком подходе из истории нельзя было ничего произвольно отсечь и утаить все заслуживало внимания и трезвой оценки. Пушкин занимался архивными разысканиями, пользовался многочисленными источниками, добился, в частности, доступа к обширной библиотеке Вольтера, приобретенной еще Екатериной II, но доступной только по высочайшему разрешению.

Помимо исторической информации Пушкин с юных лет привык к тому, что вокруг Петербурга и в самом Царском Селе где прошли его лицейские годы (1811–1817) и где он бывал и позднее, проживал финское население. Не забудем, что Царское Село в письмах Пушкина предстает еще как Сарское Село — от финского Сари (остров), так называлась финская деревня, позднее уездный центр, где обособилась загородная царская резиденция с

¹ Ссылки в тексте на издание: Пушкин А.С. Собр. соч. в 10 томах. М., 1959–1962.

дворцами, парками и лицеем. Как отмечает финский славист и исследователь Пушкина профессор Э.Пеуранен², даже в конце XIX века большинство жителей Царского Села составляли местные финны, и из них же набиралась значительная часть хозяйственной obsługi дворцов (дворники, подвозчики дров, кухонные рабочие и т.д.). Похоже, такое наблюдалось и в лицейские годы Пушкина.

В ту пору финнов, особенно ингерманландских подстоличных финнов, принято было называть среди русских "чухонцами". В текстах и переписке Пушкина встречаются разные формы: и чухонец (чухонка, чухончка), и финн, и финляндец (финляндка). Окружение для тогдашних петербуржцев оставалось еще настолько финско-чухонским, что Пушкин и саму столицу иногда шуточно причислял к "Чухляндии". В ноябре 1828 года поэт сообщал из псковской ссылки в письме А.А.Дельвигу в Петербург: "К новому году, вероятно, явлюсь к вам в Чухляндию" (IX. 286). Свое собственное пребывание в Петербурге, либо в Царском Селе Пушкин, опять же в шутку, называл "чухонским уединением".

Между тем лицейские годы в Царском Селе оставили у поэта неизгладимые воспоминания, выразившиеся в стихах. Одно из ранних (но лишь позднее опубликованных) стихотворений так и называлось — "Сарское Село". Оно открывалось такими строками:

Хранитель милых чувств и прошлых
наслаждений,
О ты, певцу дубрав давно знакомый
гений,
Воспоминание, рисуй передо мной
Волшебные места, где я живу душой,
Леса, где я любил, где чувство
развивалось,
Где с первой юностью младенчество
сливалось
И где, взлелеянный природой и мечтой,
Я знал поэзию, веселье и покой.

(II, 8)

Как упоминает в своей статье Э.Пеуранен, в Царском Сельском лицее одновременно с Пушкиным учился мальчик финляндского происхождения — сын дворянина Фредрик Кристиан Стевен (русский вариант имени-отчества: Федор Христианович).

В литературном отношении показательным был зарождавшийся в ту пору интерес русских романтических поэтов к финлянд-

ско-скандинавской тематике. Незадолго до того закончилась последняя русско-шведская война 1808—1809 годов, вся Финляндия отошла к России. В войне участвовали многие молодые офицеры, некоторые из них обладали незаурядным литературным талантом, имена их стали вскоре известны: К.Н.Батюшков (1787—1855), Д.В.Давыдов (1784—1839), Ф.В.Булгарин (1789—1859). В 1820 году на военной службе в Финляндии оказался Е.А.Баратынский (1800-1844), проведший там пять лет. Затем 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов, после поражения и следствия некоторых постигло временное заточение в финляндских военных крепостях и гарнизонах. В Финляндии побывали писатели: А.А.Бестужев-Марлинский (1797—1837), В.К.Кюхельбекер (1797-1846), Г.С.Батеньков (1793-1863). В творчестве всех названных писателей так или иначе отразились финляндско-скандинавские мотивы — в стихах, воспоминаниях, письмах. В финских крепостях находились и другие декабристы — М.И.Муравьев-Апостол, А.П.Арбузов, А.И.Тютчев, И.Д.Якушкин³.

Попутно отметим, что во время следствия по делу декабристов от последних требовали показаний также о возможных их связях с Финляндией. Власти насторожились особенно после того, как М.П.Бестужев-Рюмин показал, что ему доводилось слышать о "всеобщем неудовольствии" в Финляндии и о желании ее жителей "возвратиться к Швеции". И хотя допрашиваемый добавил, что "мы с тем краем в сношениях не были" и что тайного общества там нет, следствие настаивало на более подробных показаниях, после чего Бестужев-Рюмин заявил, что о недовольстве в Финляндии он слышал "неопределительно"⁴.

Подобные же вопросы относительно Финляндии задавались и другим последственным — М.И.Муравьеву-Апостолу, В.Л.Давыдову, но они отвечали, что о недовольстве ничего не слышали.

Осознание литературой этнического многообразия России

Характерным для представителей русского романтизма 1820-х годов стало осознание того факта, что Россия — чрезвычайно многонациональное государство и что

³ Финский альбом: Из русской поэзии начала XIX — начала XX веков. Сост. Т.С.Тихменева. Ювяскюля, 1998, с.300.

⁴ Восстание декабристов. Материалы. М., 1950, т.IX, с.41, 65, 222.

² Peuranen E. Puskin ja suomalaiset. / Nuori Voima. Helsinki, 1999, № 4. S. 7-9.

разнообразие населяющих ее племен и народов должно стать предметом литературы. Вот как писал об этом в 1823 году Орест Сомов, один из теоретиков русского романтизма: "Столько различных народов слилось под одно название русских или зависит от России, не отделяясь ни пространством земель чужих, ни морями далекими! Столько разных обликов, нравов и обычаев представляются испытующему взору в одном объеме России совокупной!" Критик призывал писателей обозреть ее пространства, "обитаемые пыльными поляками и литовцами, народами финского и скандинавского происхождения, обитателями средней Колхиды, потомками переселенцев, видевших Овидия, остатками некогда грозных России татар, многообразными племенами Сибири и островов, кочующими поколениями монгольцев, буйными жителями Кавказа, северными лапландцами и самоедами"⁵.

Впоследствии в стихотворении Пушкина "Клеветникам России" (1831) одним из выразительных измерений огромных пространств страны станет: "От финских хладных скал до пламенной Колхиды". Это был именно совмещенный — не только географический, но и этнический — масштаб, отражавший этническую пестроту народонаселения великого государства.

Уже в ранних романтических поэмах Пушкина тенденция к изображению этнической многоликости проявлялась подчас подчеркнуто зримо. Незавершенная поэма "Братья-разбойники", написанная в 1821—1822 гг. и напечатанная в отрывках в 1825 году, начинается таким описанием:

Не стая воронов слеталась
На груды глеющих костей,
За Волгой, ночью, вкруг огней
Удалых шайка собиралась.
Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!
Из хат, из келий, из темниц
Они стекались для стяжаний!
Здесь цель одна для всех сердец —
Живут без власти, без закона.
Меж ними зрится и беглец
С брегов воинственного Дона,
И в черных локонах еврей,
И дикie сыны степей,
Калмык, башкирец безобразный,
И рыжий финн, и с ленью праздной
Везде кочующий цыган!

(III, 136)

Заметим, что и в прозе Пушкина будут встречаться эпизодические упоминания о финнах, как и о представителях других национальностей, наряду с русскими. В рассказе "Гробовщик", вошедшем в "Повести покойного Ивана Петровича Белкина" (1831), описывается компания городских ремесленников, собравшихся по соседству в гости у сапожного мастера-немца Готлиба Шульца. В числе гостей гробовщик Адриан Прохоров, основной персонаж рассказа, не названные по имени булочник и переплетчик, а также "будочник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина" (V, 79). По В.И.Далю и "Словарю языка Пушкина", "будочник" означает: нижний полицейский чин, городской страж, живущий в "будке", особом служебном и жилом помещении. В рассказе "серенькая будка" имеет даже дорические колонны, и Юрко стоит на посту в кольчуге и с секирой. Веселая компания произносит бесконечные тосты, и Юрко рассмешил всех тем, что предложил выпить за здоровье не только мастеров, но и их клиентов, а "клиентами" гробовщика являются мертвецы. Расстроившийся и изрядно опьяневший гробовщик видит сон с участием обслуженных им покойников, беседует с ними, и обидчик Юрко присутствует при этом. Фоном рассказа является Москва (упоминаются Басманная улица и Никитские ворота), но в равной степени фоном мог бы быть и этнически пестрый Петербург, где немецкие и финские мастеровые не были редкостью.

В "Руслане и Людмиле", первой пушкинской поэме (1820), избран фольклорно-сказочный сюжет с чародеями и колдунами, причем происходящее предстает в шутивно-фантастическом сочетании романтических и комических ситуаций, истории и вымысла. Представляя в "Посвящении" свой "труд игривый", автор сразу же настраивает читателя на соответствующий лад. Сказочное действие отнесено к эпохе Киевской Руси: Людмилу, юную дочь князя Владимира и избранницу столь же юного витязя Руслана, похищает с брачной постели злой волшебник Черномор, и вновь встретиться влюбленным суждено лишь после долгих приключений.

Но параллельно русской фольклорной линии с Бабой Ягой и Черномором в романтической поэме Пушкина есть и финская сказочно-мифологическая линия с добрым волшебником Финном и злой колдуньей Наинной. Истории одной влюбленной пары, обретшей свое счастье, предшествует история другой пары, чья любовь не состоялась.

Избранное в поэме женское имя Наина

⁵ Сомов О. О романтической поэзии. СПб., 1823, с.86.

восходит, по-видимому, к финскому слову "nainen" (женщина). Для Пушкина такое имя было важно потому, что происхождение у колдуны Нainya финское. Оба имени — Финн и Наина — являются в поэме одновременно этническими и собственными именами. Волшебник Финн, уже седой и состарившийся, рассказывает Руслану, что он "природный финн", в молодости пас деревенское стадо и влюбился в гордую Наину из соседнего селения. Не добившись взаимности иначе, он даже занялся разбоем и положил к ее ногам несметные богатства, но тщетно. Тогда он пошел на выучку к знаменитым чародеям, чтобы покорить Наину силой волшебства. Вот как об этом повествует Финн Руслану:

Но слушай: в родине моей
Между пустынных рыбаей
Наука дивная таится.
Под кровлей вечной тишины,
Среди лесов, в глуши далекой
Живут седые колдуны;
К предметам мудрости высокой
Все мысли их устремлены;
Все слышит голос их ужасный,
Что было и что будет вновь,
И грозной воле их подвластны
И гроб, и самая любовь.

(III, 21)

Юному Пушкину было известно, что среди европейских народов финны с давних времен пользовались репутацией искусных колдунов. В этом отношении их часто смешивали с саамами-лопарями (о "феннах" в значении лапландцев писал еще Тацит). Пушкин находится под влиянием этой пространственной традиции. Следует учесть и то, что в русской литературе начала XIX века финнов не вполне отделяли и от скандинавов — Финляндия в течение столетий входила в состав Швеции, финское образованное общество продолжало еще долго примыкать к шведской культуре. Например, в стихах Батюшкова о Финляндии присутствовали еще и древнескандинавское мифологическое божество Один, и древнескандинавские скальды. Это же наблюдалось в первых финляндских стихах Баратынского.

В поэме Пушкина чародейство Финна обернулось для него бедой и несчастьем: за потраченные на чародейскую науку годы красавица Наина превратилась в дряхлую старуху. Финн продолжает свой печальный рассказ:

Ах, витязь, то была Наина!..
Я ужаснулся и молчал,
Глазами страшный призрак мерил,

В сомненье все еще не верил
И вдруг заплакал, закричал:
"Возможно ль? ах, Наина, ты ли!
Наина, где твоя краса?
Скажи, ужели небеса
Тебя так страшно изменили?
Скажи, давно ль, оставя свет,
Расстался я с душой и с милой?
Давно ли?.." "Ровно сорок лет, —
Был девы роковой ответ, —
Сегодня семьдесят мне было..."

.....
И было в самом деле так.
Немой, недвижный перед нею,
Я совершенный был дурак
Со всей премудростью моею.

И вот ужасно: колдовство
Вполне свершилось по несчастью,
Мое седое божество
Ко мне пылало новой страстью.
Скривив улыбкой страшный рот,
Могильным голосом урод
Бормочет мне любви признание.
Вообрази мое страданье!

(III, 22—23)

Время остановить невозможно даже чародейством, и поэтому умудренный опытом Финн готов помочь Руслану поскорее найти Людмилу, пока они оба в расцвете лет. Наина же помогает Черномору в его злых кознях. В поэме используется весь волшебный реквизит народной сказки: и волшебное кольцо, и шапка-невидимка, и живая и мертвая вода, и магическое усыпление героев, и их счастливое пробуждение в минуту опасности. Соблюдаются, впрочем, и исторические детали: витязи-богатыри сражаются в латах и кольчугах, у них колчаны со стрелами, мечи и копья; Руслан спасает древний Киев от осады печенегов. Его коварно убивает Фарлаф, но Руслан магически воскресает от живой воды, доставленной Финном из известного ему волшебного ключа. Добрый чародей всевидящ, беду Руслана он узрел из своей финской пустыни и спешит на помощь. Сказочные пространства преодолеваются мгновенно, живая вода доставлена Финном к кроку.

Склонившись, погружает он
Сосуды в девственные волны.
Наполнил, в воздухе пропал
И очутился в два мгновенья
В долине, где Руслан лежал
В крови, безгласный, без движенья.
.....
Вдруг витязь вспрынул; вещий Финн
Его зовет и обнимает:
"Судьба свершилась, о мой сын!

Тебя блаженство ожидает;
Тебя зовет кровавый пир;
Твой грозный меч бедою грянет;
На Киев снидет кроткий мир,
И там она тебе предстанет.
Возьми заветное кольцо,
Коснися им чела Людмилы,
И тайных чар исчезнут силы,
Врагов смутит твое лицо,
Настанет мир, погибнет злоба.
Достойны счастья будьте оба!

(III, 79—80)

Возникает вопрос: насколько фольклорная финская часть сказочного сюжета пушкинской поэмы? Чего-либо похожего на историю о Финне и Наине в карело-финском мифологическом наследии не обнаруживается. Фантазия юного поэта, опираясь на самые общие представления о "финских колдунах", как бы предугадала обилие в карело-финском фольклоре именно заклинательно-мифологической поэзии. Позднее, в 1830 году, Пушкин откликнется в "Литературной газете" рецензией на поэму Федора Глинки "Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой". В рецензии приводились пространные выдержки из поэмы ссыльного поэта, причем Пушкин обратил особое внимание на содержащийся в ней мифологический элемент. В рецензии говорилось о магических духах: "Духи основали свое царство в пустынях лесной Карелы. Вот как поэт наш изображает их" (VI, 58), — и далее приводилась длинная выдержка из поэмы Глинки, где в шутивно-ироническом тоне "царство духов" сопоставлялось с современным обществом.

Пушкин и "финский отшельник" Баратынский

В 1820-е годы Пушкина чрезвычайно привлекал находившийся тогда в Финляндии Баратынский — и своей талантливой поэзией, и своей драматической судьбой.

В возрасте 12 лет Баратынский как сын дворянина и генерала был зачислен в привилегированный Пажеский корпус в Петербурге, а через четыре года, в 1816 г., отчислен за тяжкий проступок (участие в краже). Наказание последовало суровое: по царскому повелению провинившийся мог поступить на военную службу только рядовым, иные пути для карьеры для него были закрыты.

Несколько лет после исключения из корпуса юный Баратынский провел в родовом имении в Тамбовской губернии, затем в Петербурге, где постепенно вошел в контакт с

литературными кругами и обнаружил незаурядный поэтический талант. Родственники и друзья, в том числе известные писатели (В.А.Жуковский, П.А.Вяземский, Д.В.Давыдов), хлопотали о его помиловании, но тщетно. В 1819 году Баратынский поступил рядовым в гвардию, но с правом жить на квартире у А.А.Дельвига, с которым подружился. Через Дельвига состоялось и знакомство Баратынского с Пушкиным еще до его отъезда в Финляндию. Военная служба давала Баратынскому слабую надежду на то, что, дослужившись до офицерского чина и восстановив себя в гражданских правах, он сможет потом уйти в отставку. Цель эта достигалась проще не в столице и не в гвардии, а в армейских частях где-нибудь в провинции. В январе 1820 года Баратынский, будучи произведенным в унтер-офицеры, переведен в Нейшлотский пехотный полк в Финляндию. Штаб полка находился во Фридрихсгаме (Хамина), Баратынский квартировал в доме командира полка, поскольку пользовался некоторыми послаблениями. У него была возможность ездить в отпуск в Петербург и на родину; кроме того, полк несколько раз в году нес караульную службу в Петербурге, так что связи с тамошними друзьями не прерывались, хотя поэт и сетовал на свое финское "отшельничество". В октябре 1824 года Баратынского перевели в Хельсинки, где он служил при штабе финляндского генерал-губернатора. Всего он прослужил в Финляндии пять лет и девять месяцев. В октябре 1825 года, уже в офицерском звании прапорщика, он уехал в продолжительный отпуск в Москву, подал в отставку и в Финляндию больше не возвращался.

Особенностью восприятия Финляндии многими русскими поэтами XIX — начала XX века, от Батюшкова до Осипа Мандельштама, — было то, что она представлялась им одновременно и частью России, и "заграницей" со своеобразной природой, обычаями и нравами жителей, языком и культурой. Так воспринимал Финляндию и Баратынский. В предисловии к поэме "Эда" на финский сюжет (особенно заинтересовавшей Пушкина) Баратынский писал: "Страна сия имеет некоторые права на внимание наших соотечественников любопытную природою, совершенно отличною от русской. <...> Жители отличаются простотою нравов, соединенною с некоторым просвещением, подобным просвещению германских провинций. Каждый поселянин читает Библию и выписывает календарик, нарочно издаваемый в Або для земледельцев⁶.

⁶ Баратынский Е.А. Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., 1951, с.419.

Пушкин неоднократно подчеркивал, характеризуя дарование Баратынского, что он с самого начала зарекомендовал себя как элегический поэт по преимуществу, как автор философской лирики, поэзии раздумий и мыслей.

Элегией являлось и стихотворение "Финляндия", впервые прочитанное Баратынским в кругу полковых друзей в марте 1820 года, а затем оглашенное также на заседании Вольного общества любителей российской словесности в Петербурге и напечатанное в журнале "Соревнователь просвещения". Стихотворение прозвучало как первое знакомство поэта с Финляндией, он приветствовал страну, куда столь неожиданно забросила его судьба: "В свои расселины вы приняли певца, Граниты финские, граниты вековые..."

Это была страна, хотя и покоренная, но все еще таинственная и как бы погруженная в безмолвие. В элегии проводилась контрастная мысль о вечности природы и бренности человеческих деяний, обреченных на постепенное забвение. Забудутся былые войны, имена героев. Поэт обращался к жителям покоренной страны:

Сыны могучие сих грозных,
вечных скал!
Как отделились вы от каменной отчизны?
Зачем печальны вы? зачем я прочитал
На лицах сумрачных улыбку укоризны?
И вы сокрылись в обители теней!
И ваши имена не пошадило время!
Что ж ваши подвиги, что слава
наших дней,
О, все своей чредой исчезнет
в бездне лет!..

Людскому смирению и покорности в финляндских стихах Баратынского противостоит бунтарство природных стихий ("Буря", "Водопад" — последнее стихотворение об Иматре, надолго ставшее объектом восхищения и одним из символов Финляндии в русской поэзии XIX — начала XX вв.). Через природную символику в стихах Баратынского передается чувство личной несвобо-ды.

Для русских военных и гражданских чинов в Финляндии существовали определенные социальные и культурно-языковые барьеры. Местных языков, шведского и финского, они не знали, а население, за редким исключением, не владело русским. Общению образованных людей, если такое намечалось, могло помочь знание европейских языков — французского и немецкого.

Но молодых офицеров влекло общество местных женщин, и тут помогал язык люб-

ви. Еще очень юный Баратынский сочинил в первый год пребывания в Финляндии мадригал "Финским красавицам":

Так — ваш язык еще мне нов,
Но взоры милых сердцу внятны,
И звуки незнакомых слов
Давно душе моей понятны.
Я не умел еще любить —
Опасны сердцу ваши взгляды!
И сын Фрегеи, может быть,
Сильнее будет сына Лады!

Но "сыны Лады", то есть русские военные и гражданские лица вплоть до самых титулованных особ, вскоре заимели успех у финских красавиц, о чем свидетельствует, в частности, история двух юных дочерей Выборгского губернатора Карла Шернваль фон Валлена — Авроры и Эмили. Их имена стали известны многим образованным людям в России и до некоторой степени вошли в историю русской культуры. Кроме Баратынского, сестрам Шернваль посвятили стихи такие поэты, как П.А.Вяземский и М.Ю.Лермонтов.

В шестнадцать лет Аврора Шернваль (1808—1902) была привезена в Хельсинки и представлена местному обществу — там ее и увидел впервые Баратынский в 1824 году. Поклонников у нее появилось множество, хотя судьба ее складывалась не без драматических превратностей. В 1831 году (во время холерной эпидемии в Хельсинки и Петербурге) неожиданно скончался, причем накануне свадьбы, жених Авроры — русский офицер и литератор А.А.Муханов, тогда адъютант финляндского генерал-губернатора А.А.Закревского (имя Муханова упоминает Пушкин и даже полемизирует с ним по поводу записок мадам де Сталь о ее поездке через Финляндию). В 1836 году Аврора Шернваль вступила в брак с известным русским промышленником и меценатом П.Н.Демидовым, который, однако, скончался четыре года спустя, оставив ей сына и солидное наследство. В 1846 году на Авроре женился А.Н.Карамзин, старший сын знаменитого писателя и историка Н.М.Карамзина. Новый супруг погиб на Крымской войне в 1854 году. В историю финской культуры Аврора вошла под фамилией Шернваль-Карамзина и оставила о себе память своими благотворительными деяниями в качестве щедрого культурного мецената.

Баратынский посвятил юной Авроре стихи параллельно на русском и на французском языке (1825 г.):

Видь, дохни нам упоенем,
Соименница зари;

Всех румяным появленьем
 Оживи и озари!
 Пылкий юноша не сводит
 Взоров с милой и порой
 Мыслит с тихою тоскою:
 “Для кого она выводит
 Солнце счастья за собой?”

Само имя Авроры как утренней звезды
 обыграл в своей “Песне” (1833 г.) также
 П.А.Вяземский. Из шести строф первая зву-
 чала так:

Нам сияет Аврора,
 В солнце нужды нам нет:
 Для души и для взора
 Есть и пламень и свет.

Младшая сестра Авроры, Эмилия Шернваль (1810—1846), вышла замуж за графа В.А.Мусина-Пушкина (1798—1854), сына А.И.Мусина-Пушкина, президента Российской академии художеств и знаменитого издателя “Слова о полку Игореве”. В молодости В.А.Мусин-Пушкин, гвардейский офицер, принадлежал к декабристскому движению, состоял членом Северного общества; после подавления восстания переведен из гвардии в армейский Петровский полк.

В Хельсинки у семьи В.А.Мусина-Пушкина и его жены Эмилии был свой дом (в 1840-е годы их посещал, в частности, Я.К.Грот, тогда профессор Хельсинкского университета). Семья эта хорошо известна и в России.

В “Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года” Пушкин упоминает, что часть пути в Тифлис он ехал вместе с графом В.А.Мусиным-Пушкиным и братом его жены Э.К.Шернвалем фон Валленом, тогда офицером генерального штаба при И.Ф.Паскевиче (сменившем в 1827 г. на посту управляющего Кавказским краем генерала А.П.Ермолова). Пушкин пишет в упомянутом сочинении: “В Новочеркасске нашел я графа Пушкина, ехавшего также в Тифлис, и мы согласились путешествовать вместе” (V, 416—417). И далее о кавказских впечатлениях спутников в сравнении с их впечатлениями от Финляндии: “Граф Пушкин и Шернваль, смотря на Терек, вспомнили Иматру и отдавали преимущество *реке на Севере гремящей*. Но я ни с чем не мог сравнить мне предстоящего зрелища” (V, 422). Выделенные слова заимствованы из оды Державина “Водопад”, где есть строки:

И ты, о водопадов мать!
 Река на Севере гремяща.

По свидетельству современников (И.С.Тургенева, В.А.Соллогуба), графиней Эмилией Мусиной-Пушкиной (Шернваль) увлекался Лермонтов, посвятивший ей следующие стихи (1839 г.):

Графиня Эмилия
 Белее, чем лилия.
 Стройней ее талии
 На свете не встретится.
 И небо Италии
 В глазах ее светится.
 Но сердце Эмилии
 Подобно Бастилии.

Баратынский как поэт отдал главную дань финским женщинам в поэме “Эда”, особенно привлекая Пушкина. Между прочим, сам автор поэмы дает понять, что у нее имелась предшественница в русской поэзии: пушкинская “Руслан и Людмила”. Поэма Баратынского открывается любовным объяснением юного гусара “малютке Эде”, после чего следуют строки:

С улыбкой вкрадчивой и лстивой
 Так говорил гусар красивый
 Финляндке Эде. Русь была
 Ему Отчизной. В горы Финна
 Его недавно завела
 Полков бродячая судьбина.

Здесь “в горы Финна” — достаточно прозрачный намек на волшебника из пушкинской поэмы. Но в “Эде” Баратынского повествование развивается уже не в форме сказки и “преданья старины глубокой”, а в реальном и современном русле.

Письма Пушкина свидетельствуют о том, что он очень внимательно следил за первыми же шагами Баратынского в поэзии, восторженно отзывался о нем и готов был спорить с теми, кто не разделял его надежд на рождение крупного и оригинального таланта. Из письма Пушкина к П.А.Вяземскому от 2 января 1822 года из Кишинева: “Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдет Парни и Батюшкова — если впрямь зашагает, как шагал до сих пор, — ведь 23 года счастливцу!” (IX, 36). Из письма тому же корреспонденту, тоже из Кишинева: “Мне жаль, что ты не вполне ценишь прекрасный талант Баратынского. Он более чем подражатель подражателей, он полон истинной элегической поэзии” (IX, 46).

В иных восторженных отзывах Пушкин готов даже поставить Баратынского выше себя — ведь они были еще очень юными, почти одного возраста, Баратынский лишь на полгода младше. Из письма Пушкина к А.А.Бестужеву от 12 января 1824 года из

Одессы: “Баратынский — прелесть, чудо, “Признание” — совершенство. После него никогда не стану печатать своих элегий, хотя бы наборщик клялся мне Евангелием поступать со мною милостливо” (IX., 87-88).

Пушкин писал, теперь уже из Михайловского, П.А.Плетневу в конце октября 1824 года: “Жаль, что нет между вами Баратынского, говорят, он пишет” (IX, 112). Это был уже новый сигнал — до Пушкина дошел слух, что Баратынский пишет поэму на финский сюжет. Для Пушкина это было тем более интересно, что он сам увлекался в ту пору поэмами на экзотические, в этническом отношении необычайные “инородческие” сюжеты: за “Русланом и Людмилой” последовали “Кавказский пленник”, “Бахчисарайский фонтан”, “Цыганы”. В темах и героях поэм продолжала отражаться этническая многоликость России, за годы южной ссылки Пушкин успел немало повидать собственными глазами.

Примечательно, например, что в сравнительно небольшой поэме “Кавказский пленник” (1822) Пушкин уделил много места не столько самой романтической фабуле, сколько описанию своеобразной природы Кавказа и его народов, чью жизнь наблюдает пленник из других, русских краев, не кавказец, а “европеец”. В поэме есть такие строки:

Но европеяца все вниманье
Народ сей чудный привлекал.
Меж горцев пленник наблюдал
Их веру, нравы, воспитанье,
Любил их жизни простоту,
Гостеприимство, жажду брани,
Движений вольных быстроту,
И легкость ног, и силу длани...
(III, 99)

Мысль эта развивается также в эпилоге поэмы:

Так Муза, легкий друг Мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы.
Ее пленил народ суровый
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне...
(III, 115)

Одновременно перед Пушкиным стояла весьма актуальная для него эстетическая, сугубо художественная задача: как от чисто романтической поэмы перейти к реалистическому повествованию. Ведь к середине 1820-х годов им были уже написаны первые

главы “Евгения Онегина”. Пушкин с нетерпением ожидал, какой будет “чухонская поэма” Баратынского, в каком направлении под пером незаурядного поэта разовьется ее сюжет, по-своему тоже экзотический и романтический, из жизни малоизвестного народа.

В письмах из Михайловского Пушкин торопит своих корреспондентов поскорее прислать ему текст “Эды” и сразу же, как только поэма будет опубликована целиком (а она публиковалась сначала в отрывках). С нетерпением поэт спрашивает брата Л.С.Пушкина в письме от ноября 1824 года: “Что же чухонка Баратынского? Я жду” (IX, 119). И снова брату в том же ноябре: “Торопи Дельвига, присылай мне чухонку Баратынского, не то проклянью тебя”. (IX, 121). Опять брату 4 декабря 1824 года с нетерпением и шуткой: “Пришли же мне “Эду” Баратынскую. Ах он чухонец! Да если она милее моей черкешенки (из “Кавказского пленника”. — Э.К.), так я повешусь у двух сосен и с ним никогда знаться не буду” (IX, 125).

В этих шутливых словах выражался, однако же, дух творческой состязательности; разумеется, ни о какой черной зависти не могло быть и речи. Напротив, Пушкин относился к Баратынскому, поэту и человеку, с глубоким уважением и беспокойством за его судьбу. Поскольку дело с его “реабилитацией” продвигалось плохо, Пушкин просил брата Льва сообщать ему любую новость на сей счет. В письме Пушкина брату от конца января — начала февраля 1825 года: “Что Баратынский?.. И скоро ль, долго ли?.. как узнать? Где вестник искупления? Бедный Баратынский, как об нем подумаешь, так поневоле постыдишься унывать”. (IX, 136). И снова просьба в письме от 14 марта 1825 года: “Уведомь о Баратынском — свечу поставлю за Закревского, если он его выручит” (IX, 141). Граф А.А.Закревский являлся тогда генерал-губернатором Финляндии, и к нему друзья Баратынского обращались за содействием.

Любопытна выдержка из письма Пушкина к А.Г.Родзянке от 8 декабря 1824 года, где поэт говорит об “Эде” Баратынского в сопоставлении как с собственными поэмами, так и поэмами западных авторов — именно в плане естественности и правомерности возмрастшего интереса российских поэтов к этническому разнообразию народонаселения самой России. Вот эта весьма колоритная выдержка из пушкинского письма: “Кстати: Баратынский написал поэму (не прогневайтесь — про Чухонку), и эта чухонка, говорят, чудо как мила. — А я про цыганку; каков? Подавай же нам скорее свою Чухонку — ай да Парнас! ай да героини! ай да честная компания! Вообра-

жаю, Аполлон, смотря на них, закричит: за чем ведете мне не ту? А какую ж тебе надобно, проклятый Феб? гречанку? итальянку? чем их хуже чухонка или цыганка?" (IX, 126).

Не случайно потом, ознакомившись с "Эдой", Пушкин выразит свое восхищение в следующем стихотворном послании автору (1826):

Стих каждый в повести твоей
Звучит и блещет, как червонец.
Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей,
А твой зоил прямой чухонец.
(II, 139)

Под "зоилом" в данном случае имелся в виду Ф.Булгарин, посчитавший поэму слишком "прозаической и водяной".

Для большей ясности в понимании направления литературного развития забежим на одно десятилетие вперед и обратимся к "Петербургским запискам 1836 года" Н.В.Гоголя. Статья эта примечательна для нас во многих отношениях. Гоголь не менее остро, чем Пушкин, осознавал многонациональность народонаселения России. С этим были связаны, как считал Гоголь, и исторические перемещения ее столицы: сначала был южный Киев, затем более северная Москва, после чего отодвинутый еще севернее в "чухонскую сторону" Петербург, который, в отличие от матушки-Москвы, не успел стать еще вполне русским. Гоголь писал о новой столице: "Трудно схватить общее выражение Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию: так же мало коренной национальности и так же много иностранного смешения, еще не слившегося в плотную массу. Сколько в нем разных наций, столько и разных слоев общества"⁷.

Далее в статье шла речь о столичной опере, балете, театре, драматургии — этим видам искусства тоже не хватало, по мнению Гоголя, собственно русской национальной характеристики, равно как и достаточного отражения разноплеменной российской жизни в масштабе многонационального государства. В петербургской культуре, считал Гоголь, оставалось еще много внешне раздражительного иноземным — французским, итальянским и прочим образцам.

Гоголю суждено было стать главой "натуральной школы" русского реализма. Пушкин ему предшествовал, двигаясь, однако, в том же направлении и тонко улавливая новые симптомы в творчестве своих современ-

ников, включая Баратынского и его "Эду".

"Эда" была написана Баратынским в 1824 году вчерне еще в Финляндии, а завершена в конце следующего года в Москве. Как уже говорилось, она печаталась сначала отрывками в журналах, а в 1826 году вышла вместе с более ранней поэмой "Пиры" и кратким предисловием автора к "Эде", но без эпилога, не пропущенного цензурой и впервые опубликованного лишь посмертно в 1860 году.

В предисловии к "Эде" говорилось о том, что ее события происходят в 1807 году, то есть перед самым началом последней русско-шведской войны 1808—1809 годов. Юный гусар, возлюбленный Эды, покидая ее, отправляется на войну. А в эпилоге речь идет уже о завоеванной Финляндии, и автор отдает должное как силе русского оружия, так и стойкости покоренного народа.

Ты покорился, край гранитный,
России мочь изведал ты
И не столкнешь ее пяты,
Хоть дышишь к ней враждою скрытной!
Срок плена вечного настал,
Но слава падшему народу!
Бесстрашно он оборонял
Угрюмых скал своих свободу...

В предисловии Баратынский весьма скромно представлял свое произведение, в том числе по сравнению с пушкинскими поэмами. Однако в самом сравнении содержался и один принципиальный эстетический нюанс: автор именовал "Эду" повестью, а не лирической поэмой. Он был убежден в том, что "в поэзии две противоположные дороги приводят почти к той же цели: очень необыкновенное и совершенно простое, равно поражая ум и равно занимая воображение. Он (сочинитель) не принял лирического тона в своей повести, не осмелился вступить в состязание с певцом Кавказского пленника и Бахчисарайского фонтана. Поэмы Пушкина не кажутся ему безделками. Несколько лет занимаясь поэзией, он заметил, что подобные безделки принадлежат великому дарованию и следовать за Пушкиным ему показалось труднее и отважнее, нежели идти новою собственной дорогой"⁸.

Этот характерный для литературного периода отход от романтизма к реализму в творчестве Баратынского выражен, быть может, не столь последовательно, как у Пушкина, но все же эстетическая их "солидарность" объяснялась во многом сходными

⁷ Гоголь Н.В. Собр. соч. в 6 томах. М., 1950. Т. VI, с. 109—110.

⁸ Баратынский Е.А. Стихотворения, поэмы, письма. М., 1951, с. 419—420.

тенденциями в эволюции обоих поэтов-современников.

Когда Пушкин получил наконец возможность прочитать поэму Баратынского (похоже, по экземпляру, одолженному у П.А.Осиповой, соседки в Тригорском), он восторженно писал Дельвигу 20 февраля 1826 года: "Прасковья Александровна уехала в Тверь, сейчас пишу к ней и отсылаю "Эду" — что за прелесть эта "Эда"! Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт, всякий говорит по-своему. А описание лифляндской (описка: финляндской. — Э.К.) природы! а утро после первой ночи! а сцена с отцом! — чудо!" (IX, 226).

Позднее Пушкин намеревался написать статью о поэзии Баратынского, сохранилось несколько набросков, опубликованных посмертно. Для Пушкина Баратынский являлся одним из восточных и оригинальнейших поэтов. "Кроме прелестных элегий и мелких стихотворений, знаемых всеми наизусть и поминутно столь неудачно подражаемых, Баратынский написал две повести, которые в Европе доставили бы ему славу, а у нас были замечены одними знатоками". И далее: "Перечтите его "Эду" (которую критики нашли ничтожной, ибо, как дети, от поэмы требуют они происшествий), перечтите сию простую восхитительную повесть; вы увидите, с какою глубиною чувства развита в ней женская любовь" (VI, 368, 370).

Между прочим, Пушкин относил Баратынского, как и самого себя, к "неободренному" критикой поэтам, добавляя при этом: "Ободрение может оперить только обыкновенные дарования" (IX, 159), тогда как большие и самобытные таланты обретают крылья в свободном полете.

От романтических поэм "Эда" отличалась простотой и безыскусственностью повествования — именно эти качества ценил в ней Пушкин. О юной Эде недаром говорится, что она "отца простого дочь простая". Наблюдая за дочерью, родители предчувствуют беду, ее полудетская любовь к гусару, затем развивающаяся в страсть, не может кончиться добром. Сама Эда, еще девочка, смутно осознает гибельность своей любви, но с сердцем ничего поделать не может.

Недаром, дева красоты,
Предателя чуждалась ты,
Томяся грустью безотрадной!
Ты уступила сердцу вновь:
Простила нежная любовь
Любви коварной и нещадной.

Пушкин тонко уловил и оценил эту душевную чистоту юного чувства, когда писал

об Эде и ее доверчивости к гусару: "Она любит как дитя, радуется его подаркам, резвится с ним, беспечно привыкая к его ласкам. Но время идет, Эда уже не ребенок". Приведя большой отрывок из поэмы, Пушкин заключал: "Какая роскошная черта, как весь отрывок исполнен неги! Эда влюблена" (VI, 371).

Укажем еще на один примечательный литературный факт: поэмы Баратынского произвели на Пушкина столь сильное впечатление, что он дважды сослался на них и их автора в "Евгении Онегине". В третьей главе, перед письмом Татьяны Онегину, исполненным нежной девичьей влюбленности, Пушкин обращается к Баратынскому с упоминанием о его ранней поэме "Пирры", но уже зная, видимо, нечто и об "Эде" (третья глава "Евгения Онегина" писалась в 1824 г., опубликована в 1827 г.). Вот эта строфа (XXX):

Певец Пиров и грусти томной,
Когда б еще ты был со мной,
Я стал бы просьбою нескромной
Тебя тревожить, милый мой:
Чтоб на волшебные напевы
Переложил ты страстной девы
Иноплеменные слова.
Где ты? приди: свои права
Передаю тебе с поклоном...
Но посреди печальных скал,
Отвыкнув сердцем от похвал,
Один, под финским небосклоном,
Он бродит, и душа его
Не слышит горя моего.

(IV, 66)

В пятой главе "Евгения Онегина" поэтическая ссылка автора на Баратынского, равно как на Вяземского, связана с описанием зимы. Со школьных лет помнятся эти чудесные пушкинские строки:

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь...

И дальше о летящей кибитке с ямщиком в тулупе, о дворовом мальчике, посадившем в салазки Жучку, —

Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно.
А мать грозит ему в окно.

Сразу же вслед за этим Пушкин, не без усмешки допуская, что иным читателям столь обыденные сценки деревенского быта покажутся непоэтическими, отсылает к стихам Вяземского и Баратынского.

Но, может быть, такого рода
 Картины вас не привлекут:
 Все это низкая природа;
 Изящного не много тут.
 Согретый вдохновенья богом,
 Другой поэт роскошным слогом
 Живописал нам первый снег
 И все оттенки зимних нег;
 Он вас пленит, я в том уверен,
 Рисуя в пламенных стихах
 Прогулки тайные в саях;
 Но я бороться не намерен
 Ни с ним покамест, ни с тобой,
 Певец финляндки молодой!
 (IV, 95)

В последнем случае имелась в виду "Эда" (сам Пушкин снабдил свое произведение соответствующими примечаниями). В "Эде" есть следующее описание финской зимы:

Сковал потоки зимний хлад
 И над стремнинами своими
 С гранитных гор уже висят
 Они горами ледяными...

И дальше уже в связи с печалью самой Эды, покинутой гусаром:

Как небо зимнее, бледна,
 В молчанье грусти безнадежной
 Сидит недвижно у окна.
 Сидит, и бури вой мятежный
 Уныло слушает она,
 Мечтая: "Нет со мною друга;
 Ты мне постыл, печальный свет!
 Конца дождусь ли я иль нет?
 Когда, когда сметешь ты, вьюга,
 С лица земли мой легкий след?
 Когда, когда на сон глубокий
 Мне даст могила свой приют
 И на нее сугроб высокий,
 Бушуя, ветры нанесут?"

Приведем еще любопытнейшее место из письма Баратынского Пушкину от конца февраля — начала марта 1828 года из Москвы. Оно имеет прямое отношение к тогдашним спорам о романтической и реалистической эстетике — ведь и "Евгения Онегина" приняли не все даже из близких друзей Пушкина. Баратынский сообщает в письме: "Вышли у нас еще две песни "Онегина" (четвертая и пятая главы. — Э.К.). Каждый о них толкует по-своему: одни хвалят, другие бранят, и все читают. Я очень люблю обширный план твоего "Онегина", но большее число его не понимает. Ищут романтической завязки, ищут обыкновенного (т.е. привычно-романтического. — Э.К.) и, разумеется, не находят. Высокая поэтическая простота тво-

его создания кажется им бедностью вымысла, они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех ее изменениях, проходят перед их глазами <...> Я думаю, что у нас в России поэт только в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большею обдуманностью, с большим глубокомыслием; он скучен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его все-таки не проза. Не принимай на свой счет этих размышлений: они общие"⁹.

Мысль о неразвитости вкусов критики и публики как причине преимущественного успеха "незрелых опытов" оказалась Пушкину, по-видимому, убедительной — она присутствует и в его наброске статьи о самом Баратынском как одно из объяснений, почему его зрелый талант оставался недооцененным (VI, 369).

Баратынский преклонялся перед Пушкиным и не равнял себя с ним по силе дарования. Помимо внутренней честности, это свидетельствовало о его зрелом уме. Зная о работе Пушкина над "Борисом Годуновым", Баратынский писал ему в первой половине декабря 1825 года: "Жажду иметь понятие о твоём Годунове. Чудесный наш язык ко всему способен; я это чувствую, хотя не могу привести в исполнение. Он создан для Пушкина, а Пушкин для него. Я уверен, что трагедия твоя исполнена красот необыкновенных. Иди, довершая начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление"¹⁰.

После гибели Пушкина, воспринятой Баратынским как "общественное бедствие", и после других печальных событий 1830-х годов, русская жизнь мало его радовала, и он уже не столь сумрачно оглядывался на годы, проведенные им не по доброй воле в Финляндии. В 1839 году Баратынский писал П.А.Плетневу: "Эти последние десять лет существования, на первый взгляд не имеющие никакой особенности, были мне тяжелее всех годов моего финляндского заточения"¹¹.

Своему бывшему финляндскому сослуживцу, затем родственнику Н.В.Путяте Ба-

⁹ Баратынский Е.А. Стихотворения, поэмы, письма, М., 1951, с.489—490.

¹⁰ Там же С.484—485.

¹¹ Там же. С. 528.

ратынский писал в 1830 году еще более прочувствованно: "...этот край был пестуном моей жизни. Лучшая мечта моей поэтической гордости состояла бы в том, чтобы в память мою посещали Финляндию будущие поэты"¹².

Петровская эпоха в изображении и оценке Пушкина

Эпоха Петра Великого интересовала Пушкина и как художника, и как историка-исследователя. Причем с годами этот интерес все возрастал и углублялся.

В незавершенном исследовании "История Петра I", работу над которой прервала гибель поэта, значительное место уделено Северной войне (1700—1721), в результате которой окрешая Россия утвердила себя на Балтике. Произошел коренной перелом в ее давнем соперничестве со Швецией, утратившей вместе с обширными территориями статус одного из ведущих европейских государств. От Швеции к России отошли прибалтийские земли с тогдашними названиями, которыми пользовался и Пушкин: Ингерманландия, Эстляндия, Лифляндия (в которую входила, кроме Латвии, также южная Эстония), часть финляндской Карелии.

Пушкин собрал для своего исследования обширный материал из самых различных источников и в так называемом подготовительном тексте расположил его в хронологическом порядке по годам, кое-где даже по полугодиям. Примечательно разнообразие сведений, интересовавших Пушкина, обилие отобранных и зафиксированных им деталей, в том числе таких, которые по своей специфической колоритности могли больше привлекать в нем художника, чем исследователя.

Например, войдя на только что завоеванных территориях в контакт с финским населением, царь не преминул взглянуть повнимательнее в своих новых подданных, в связи с чем Пушкин выписывает следующую деталь с указанием источника: "Петр, заметя на чухонцах худую обувь, выписал из Нижегородской и Казанской губерний *лучших лапотников* (курсив мой. — Э.К.), дав им один рубль в неделю кормовых денег, для обучения чухонцев плести лапти. Пасторы каждый месяц должны были доносить выборгскому правлению о их успехах" (VIII, 1940).

Под 1699 годом Пушкин следующим образом излагает общую стратегию царя: "Петр завоеванием Азова открыл себе путь и к Черному морю; но он не полагал того довольно для России и для намерения его сблизить свой народ с образованными государствами Европы. Турция лежала между ними. Он нетерпеливо обращал взоры свои на северо-запад и на Балтийское море, коим овладела Швеция. Он думал об Ижорской и Карельской земле, лежавшей при Финском заливе, некогда нам принадлежавших, отторгнутых у нас незаконно во время несчастных наших войн и междуцарствия" (VIII, 64).

После Северной войны, как и после прежних и последующих русско-шведских войн, с обеих сторон долгое время в народе рассказывалось немало историй об обоюдных жестокостях, в том числе по отношению к гражданскому населению, о чем упоминает, в частности, и Элиас Леннрот в своих путевых очерках по Карелии.

Не следует думать, что жестокости исходили преднамеренно от верховной власти. Пушкин ссылается на приказ Петра I Апраксину, командующему русскими войсками в Финляндии, причем с учетом сугубо прагматических соображений: "Петр запретил Апраксину разорять Финляндию, *ибо нам же придется разоренное исправлять*" (курсив Пушкина; VIII, 178).

Вот как описано у Пушкина взятие Выборга с его крепостью в июне 1710 года: "Артиллерия под Выборгом действовала удачно: с 1-го по 6 июня учинен пролом, в который строем могли войти два батальона. Город был весь почти разорен бомбами. 9-го, когда повелено было идти на приступ, то комендант предложил сдаться на капитуляцию, в сей день оно было отказано, но на другой день Шереметев вошел в переговоры, в тот же день Петр прискакал по почте и даровал следующие условия:

1) Выпустить гарнизон без музыки, знамен и ружей, с пожитками и семействами.
2) Купцы, духовные etc. содержаны будут в их вере.

3) Поселяне отпущены. <...>

12-го июня город был сдан.

14-го Петр ввел Преображенский полк (яко полковник оного) и сам расставил караулы" (VIII, 189). Но первое условие осталось невыполненным — весь гарнизон, включая офицеров и рядовых (всего более 3800 человек), был взят в плен.

Приведем еще описание взятия в сентябре 1710 года Кексгольма, самого древнего карельского города на берегу Ладоги, известного некогда под названием Корела. У Пушкина читаем: "Корела (или Кексгольм)

¹² Баратынский Е.А. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1987, с.196.

от природы крепок. Государь повелел Брюсу (генералу) крепость бомбардировать, не учиня приступа. Брюс перешел Воксу, осадил город, послал коменданту предложение о сдаче и начал город бомбардировать. Через несколько времени гарнизон сдался на условиях, подтвержденных Петром, и 8-го сентября вышел без знамен и музыки, и был отпущен" (VIII, 193). А 17 сентября 1710 года в Кексгольм водой прибыл сам Петр, до этого инспектировавший свой флот.

Из записей Пушкина можно получить представление, что Петр, требуя развязать наступление русских войск в Финляндии вплоть до берегов Ботнического залива, все же не ставил задачи полного ее присоединения, а имел в виду скорее общестратегические цели Северной войны в целом. Петр должен был считаться с тем, что король Карл VII и шведское правительство, все еще одержимые великодержавным духом, даже после Полтавской битвы и утраты юго-восточной Прибалтики не склонны были приступить к мирным переговорам. Война длилась уже много лет, и Петр стремился создать непосредственную угрозу Стокгольму, чтобы противник стал сговорчивее и пошел на переговоры. К тому же Финляндия оставалась для Швеции ближайшей базой даже в смысле продовольствия.

Пушкин цитирует письмо Петра Апраксину: "Ежели мы дойдем до Абова, то шведы принуждены будут заключить мир, ибо из Финляндии единственно получают пропитание" (VIII, 237). И далее: "Апраксину предписывает, как действовать, настаивает, чтобы взять Або и Гельсингфорс, потому 1) чтоб было что при мире уступить, 2) что Финляндия есть магла Швеции, откуда получают они не только скот и прочее, но и дрова" (VIII, 238).

Русские войска овладели в 1714 году и Гельсингфорсом, и Або (тогдашним главным городом Финляндии), и Аландским архипелагом, и северными прибрежными городами Ваазой и Оулу. Русский отряд в 800 солдат высадился даже в северном городе Умео и вынудил шведов бежать к югу. В 1716 году, продолжает Пушкин, Апраксин "посылал немалые партии из Финляндии и устрашал шведов даже в Стокгольме" (VIII, 290). Но и после этого мирные переговоры продвигались с трудом. Секретные инструкции Петра его представителям на переговорах гласили, что Эстляндия и Лифляндия, на возврате которых настаивали шведы, должны непременно остаться у России, а Финляндию, за исключением Выборгской губернии, можно вернуть Швеции. На Ингерманландию с возникновением Санкт-Петербурга Швеция уже и не претендовала. В

конечном итоге на этих условиях в 1721 году был подписан Ништадтский мир.

В художественных произведениях, статьях и исследованиях Пушкина поражает глубокий историзм его мышления, всесторонность взгляда на события и явления, включая емкие характеристики исторических лиц. Даже великие государственные мужи, по Пушкину, не идеальны в своих поступках, они действуют в рамках исторического времени, всегда противоречивого и драматического, и поэтому сами часто противоречивы. При любом правителе, тем более самодержавном, возникает неизбежная проблема власти и народа, государства и отдельной личности, далеко идущих великодержавных целей и их практического осуществления сегодня, трудами и страданиями ныне живущих подданных.

Еще в 1822 году совсем молодой Пушкин дал в небольшой статье "О русской истории XVIII века" на редкость впечатляющую характеристику царствования Екатерины II. А на последних страницах "Истории Петра I" он указал на следующее противоречие в деяниях неутомимого реформатора: "Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плод ума обширного, исполненного добродетельности и мудрости, вторые жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или, по крайней мере, для будущего, — вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика" (VIII, 323). Юный Пушкин в упомянутой статье выразился даже более темпераментно и резко: "Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон" (VII, 192).

Для Пушкина Петр одновременно и Робеспьер и Наполеон, и мудрый государственный строитель-исполнитель и деспот, просветитель и "антихрист", каким его считали в церковных кругах, да и в народе. Царь не слишком жаловал духовенство. Пушкин приводит следующий засвидетельствованный современниками Петра эпизод: в учрежденном церковном синоде возник вопрос о назначении патриарха, на что "Петр, ударив себя в грудь и обнажив кортик, сказал: "Вот вам патриарх" (VIII, 321). Как писал Пушкин в статье 1822 года, для Петра все сословия "были равны перед его дубинкой" (VII, 192).

Не случайно рукопись "Истории Петра I", после гибели Пушкина оказавшись в руках Николая I, была запрещена к печати; потому она затерялась и стала в полном виде

доступна читателю лишь столетие спустя.

Аналогичная судьба постигла и знаменитую поэму “Медный всадник”, оставшуюся при жизни поэта неопубликованной, поскольку царь потребовал неприемлемых для автора изменений текста. Для посмертной публикации текст был переработан В.А.Жуковским с сильным искажением содержания поэмы.

В “Медном всаднике”, одном из самых зрелых и глубоких творений Пушкина, монументальный образ Петра возникает как символ трагических противоречий истории. Даже великие государственные деяния, сильно ускоряющие развитие, мало соотносятся с интересами рядового человека, каким в поэме является доведенный до безумия несчастный Евгений. В известном смысле историческое деяние всегда есть подавление и угнетение кого-то. Бедного чиновника Евгения подавляет сам величественный город, совершенно равнодушный к нему. В очень выразительных деталях показано, как в безумном страхе Евгений прикасается к холодному мрамору чуждых ему дворцов; на улицах он видит куда-то спешащий мимо народ “с бесчувствием холодным”; наглый кучер норовит стегнуть его плетью, — и все потому,

Что он не разбирал дороги
Уж никогда; казалось — он
Не примечал. Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.
И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь, ни человек,
Ни то ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый...

(III, 296)

Наводнение изображается в поэме как бунт природы, но бунт уже бессильный. Пострадали разве что ветхие деревянные домики Евгения и Параша, его невесты, исчезнувшие подобно исчезнувшему черным “чухонским” избам, на месте которых появились каменные громады.

Исследователи-пушкинисты отмечают, что в “Медном всаднике” нет примиряющего эпилога, который бы как-то согласовывал государственную мощь с незащищенностью Евгения, его безумие — с великой думой на царском челе. Остается без ответа вопрос к величественному седоку на бронзовом коне:

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

(III, 297)

Переводы Пушкина в Финляндии

В знаменитом стихотворении “Я памятник себе воздвиг нерукотворный...” (1836) Пушкин выразил пророческую веру в то, что он поэт не для одних русских, а для всех народов России, включая финнов, тогда в нее входящих.

Слух обо мне пройдет по всей Руси
великой
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне
дикий
Тунгус, и друг степей калмык.

В Финляндии поэзию Пушкина начали переводить еще при его жизни, сперва на шведский язык, который до определенного времени оставался основным литературным языком в образованном финском обществе.

В 1825 году в Або (Турку) вышел шведский перевод поэмы Пушкина “Кавказский пленник”, выполненный Ф.Платеном. Появлению перевода способствовали как общие обстоятельства историко-литературного характера, так и индивидуальные особенности биографии переводчика.

Десятилетием ранее усилиями университетской молодежи в Финляндии началось романтическое движение, вскоре вышли первые издания с информацией о европейском романтизме, центром которого считалась Германия, но упоминались и литературы других стран, в том числе русская. Появление шведского перевода романтической поэмы Пушкина можно считать одним из откликов на этот зарождавшийся в Финляндии интерес к общеевропейскому романтическому движению.

Переводчик Ф.Платен оказался подходящим человеком для выполнения литературного запроса. Финляндец по происхождению, он являлся во время войны 1808—1809 годов офицером шведской армии, при капитуляции Свеаборгской крепости под Хельсинки пленен и отправлен в глубь России, в Великий Устюг Вологодской губернии, где и начался его занятия русским языком. После освобождения из плена Платен провел некоторое время в Швеции, а в 1814 году приехал в Петербург и поступил на гражданскую службу, сначала в особо учрежденном комитете по финляндским делам, затем в министерстве иностранных дел. Платен владел многими языками и был не чужд литературных интересов, сочинял политические трактаты, писал стихи по-шведски и по-французски, переводил с нескольких языков. В начале 1820-х годов он вышел в отставку, поселился в Финляндии, где и

издал свой перевод "Кавказского пленника".

В стихотворном предисловии к переводу Платен сравнивал Пушкина со шведским поэтом Эсайасом Тегнером (1782—1846), тогда уже известным, особенно в скандинавских странах и германском мире. Его поэма "Швеция" (1811) и некоторые стихотворения явились как раз откликом на русско-шведскую войну 1808—1809 годов. В период 1818—1825 годов Тегнер написал одно из самых значительных своих произведений — поэму "Сага о Фритиофе" (была опубликована в 1841 г. и вскоре переведена на русский язык Я.К.Гротом). В своем предисловии к переводу "Кавказского пленника" Платен называл Пушкина и Тегнера двумя ярчайшими звездами по обе стороны Балтийского моря и Финляндии. В примечаниях к переводу содержались краткие биографические сведения о Пушкине. Местная газета в Турку откликнулась рецензией на перевод, в которой Пушкину отводилась ведущая роль в русской поэзии. Впоследствии Платен задумал переработать и переиздать перевод, тем более что часть тиража первого издания погибла при пожаре Турку в 1827 году. Переработанный перевод Платена опубликован лишь в 1882 году в журнале "Финск Тидскрифт".

Пробуждению интереса к русской литературе способствовало и то, что в университете и школах автономной Финляндии преподавались русский язык и русская словесность. В частности, в студенческих тетрадях Элиаса Леннрота (это была вторая половина 1820-х годов) сохранились два переписанных на русском языке пушкинских стихотворения — "Черная шаль" и "Утопленник". Поэт и критик Фредрик Сигнеус, с детских лет изучавший русский язык (его отец являлся лютеранским епископом в Петербурге), опубликовал в 1836 году свой первый шведский перевод пушкинских стихотворений "Талисман" и "Цыганы". В 1841 году Сигнеус и Ю.Л.Рунеберг, каждый самостоятельно, перевели пушкинское стихотворение "Ворон к ворону летит" (которое в свою очередь представляет собой вольный перевод шотландской народной баллады).

Существенную роль в ознакомлении финнов с русской литературой и в развитии переводческого дела сыграл Я.К.Грот, являвшийся в течение двенадцати лет (1841—1853) профессором русского языка, литературы и истории Хельсинкского университета. Грот воспитывал переводчиков, печатал статьи о русской литературе в финляндских газетах и о финляндской и скандинавской литературе в русских журналах. Как сообщал Грот в начале 1841 года в письме к Плетневу, он подарил своему сту-

денту Ю.Лундалю томик стихов Пушкина для перевода по выбору, и Лундаль выбрал цикл "Песен западных славян". Переводы напечатаны в газете "Гельсингфорс Моргонблад".

В 1840-е годы в Финляндии начали переводить на шведский язык прозу М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Н.Павлова, М.Загоскина, Н.Кукольника. В газетах печатались отдельные стихотворения Жуковского, Дмитриева, Баратынского, Ростопчиной, Подолинского. Особое внимание уделялось тем произведениям русских авторов, в которых говорилось о Финляндии. Одним из переводчиков был О.Мерман, преподаватель русского языка в Хельсинки. Некоторые его переводы издавались в Швеции, в том числе перевод "Капитанской дочки" Пушкина (1841). Эти переводы распространялись также в Финляндии.

Упомянем еще о публикации в газете "Гельсингфорс Моргонблад" отрывков из "Бориса Годунова" (1847), а через два года "Скупого рыцаря". Из ранних статей о Пушкине следует отметить статью 1839 года (без подписи) в газете "Борго Тиднинг". Газету редактировал тогда Рунеберг, а статью написал, возможно, Грот, незадолго до того посетивший город Борго (Порвоо) и познакомившийся с Рунебергом. В статье акцент делался на творчестве зрелого Пушкина, освободившегося от юношеского "байронизма", глубже проникшего в русскую историю и в жизнь современного русского общества. Вершинами пушкинского творчества считались "Борис Годунов" и "Евгений Онегин". О Пушкине в статье говорилось как о художнике, "который бесспорно принадлежит к величайшим поэтическим гениям нашего времени".

Начиная с 1870-х годов, русскую литературу, преимущественно прозу, стали переводить в Финляндии также на финский язык. В 1876 году вышел финский перевод "Капитанской дочки", принадлежавший С.Суомалайнену (он же перевел "Мертвые души" Гоголя и ряд других произведений). Переводы его выдержали испытание временем и переиздавались даже столетие спустя. Несколько изданий прозаических произведений Пушкина в новых переводах вышло в 1960—1980-е годы.

Те финские писатели, которые владели русским языком и могли читать русскую литературу в оригинале, достаточно хорошо понимали, сколь огромную и основополагающую роль в ее истории сыграло творчество Пушкина. Примером такого понимания могут служить, в частности, "Письма из России" Арвида Ярнефельта, опубликованные в 1886 году в одной из финских газет.

И все-таки более мощное и непосредственное влияние на Арвида Ярнефельта, как и на некоторых его соотечественников, оказал другой русский гений — Лев Толстой. Как отмечает в недавнем интервью в связи с 200-летием Пушкина финский славист профессор П. Песонен¹³, для читателей Финляндии и сегодня по степени известности русских классиков к Толстому примыкают сначала Достоевский, Гоголь, Чехов и затем Пушкин.

Это не только финское, но и общеевропейское, и общемировое явление в отношении известности русских классиков за пределами России.

Одна из причин тому — практическая непереводаемость творений гениальных поэтов. Профессор Песонен ссылается при этом на Владимира Набокова, который сам перевел Пушкина, считая, однако, что адекватный перевод поэзии — непосильная задача для любого переводчика на любой язык. Например, по имеющемуся финскому переводу «Евгения Онегина», как полагает П. Песонен, невозможно заключить, что речь идет о шедевре мировой поэзии. Кроме того, причина не только в языке. Чтобы постичь поэзию в ее тончайших нюансах, необходимо войти в культурно-исторический контекст гениального поэта, а это трудно даже для отечественных, не только зарубежных читателей.

Время от времени в Финляндии разда-

¹³ Alussa oli Puskin. / Yliopisto-lehti. Helsinki, 1999. № 3. S. 24—27.

ются грустные сожаления, что Пушкин в стране недостаточно известен. Поэт и прозаик Матти Росси, много переводивший с разных языков, в том числе Шекспира, испанских и латиноамериканских писателей, писал в 1984 году в связи со своим переводом «Бориса Годунова», выполненным по заказу хельсинкского театра: «У нас не знают Пушкина, не знают его поэзии, которую надо переводить заново».

Приветствуя этот доброжелательный максимализм, поощряющий к дальнейшим усилиям, следует отметить и положительные тенденции последних десятилетий. В ряде финских университетов, а число их продолжает возрастать, в настоящее время имеются хорошие кафедры славистики с весьма квалифицированными специалистами. Некоторые из них, помимо учебы в финских университетах, получили дополнительную научную подготовку также в Москве и Петербурге. Например, профессор Э. Пеуранен, возглавляющий уже ряд лет кафедру славистики в Ювяскюля, докторскую диссертацию по лирике Пушкина. Кстати, в Ювяскюля издан и «Финский альбом» — антология русской поэзии о Финляндии, снабженная полезными комментариями.

Финские слависты хорошо понимают, что значит Пушкин для русских людей, в том числе сегодняшних. Гениальный Пушкин по-прежнему современен, неувядаем и неисчерпаем — эту истину, осознав ее сами, они стремятся объяснить и внушить финским читателям.